

ЖИЖИЖИ ОЕ ОБ ОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Андрей Василевский. Разорение.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Павел Басинский. К Горькому — единому и цельному. — Светлана Неретина. Человек в истории. — Виктор Леглер. Одна на всех экономика.

Литература и искусство

РАЗОРЕНИЕ

Константин Воробьев. Друг мой Момич. Повести. М. «Современник». 1988. 636 стр.

«**Н**е прошло и пяти лет со времени его смерти, как имя К. Воробьева сделалось в литературе символом чести (разрядка здесь и далее моя. — А. В.),» — писал Игорь Золотусский в статье 1981 года «Очная ставка с памятью». В мемуарной книге «Зрячий посох» Виктор Астафьев с яростью и горечью рассказывает о судьбе Воробьева, ядовито замечает по поводу нынешних безмерных восторгов в адрес писателя: при жизни бы, при жизни!..¹ Константин Дмитриевич Воробьев (1919—1975) имеет стойкую репутацию отличного «военного» прозаика; «Крик» и «Убиты под Москвой» — это уже хрестоматийные страницы военной прозы, но он прозаик и деревенский, и не менее замечательный. Деревенская тема представлена у Воробьева целым рядом взаимосвязанных и вовсе не периферийных в его творчестве повестей и рассказов, рисующих историю русской деревни от трагедии гражданской войны («Сказание о моем ровеснике») до разлада современной писателю колхозной жизни («Почем в Ракитном радости»). Самая же главная деревенская книга Воробьева — «Друг мой Момич» — дала название рецензируемому сборнику; в этот объемистый том (Воробьева теперь много издают) вошли также автобиографическая, совсем недавно очнувшаяся из небытия по-

весть о немецком концлагере «Это мы, господи!..», незавершенное произведение «...И всему роду твоему», дополненное в сборнике набросками, проясняющими авторский замысел, и другие повести, хорошо известные по прежним изданиям, не буду на них останавливаться.

И повесть «Друг мой Момич» (1965) отчасти знакома читателю — примерно три четверти ее объема печатались под названием «Тетка Егориха» (этот вариант датирован 1966 годом), но разночтения, о которых я еще скажу, столь существенны, пропущенные ранее фрагменты столь принципиальны в контексте всего творчества Константина Воробьева, что «Момич» читается как новое произведение. Время действия в «Момиче» — 1928—1930 годы; когда начинается дружба («перекрут») мальчика-сироты (он же — рассказчик) с богатым мужиком Максимом Мотякиным по прозвищу Момич, героям соответственно десять и пятьдесят лет. Момич и его хозяйство производят на мальчика впечатление чего-то богатырски-былинного. «По проулку к реке большой-большой мужик ведет в поводу жеребца... Жеребец черный, как сажа, и сам мужик тоже черный — борода, непокрытая голова, глаза. Белье у него только рубаха и зубы». Под стать Момичу и его хозяйство, составляющее с ним одно неразрывное целое: «Выходившие на огород ворота, сколоченные из толстых сосновых плах, висели на приземистой круглой верее, тоже чем-то напоминавшей Момича. Сразу же за ними меня обдавало прохладой чистых закут и оторопью, — тут опять все походило на хозяина: черный кобелина

¹ На страницах «Нового мира» о К. Воробьеве писали И. Дедков, Ю. Бондарев, О. Михайлов, Л. Лавлинский, В. Камянов; первые трое — при жизни писателя. Вообще же одну из лучших работ о Воробьеве, принадлежащую перу И. Дедкова, см. в сборнике его статей «Возвращение к себе» (1978).

на длинной привязи, черный молчаливый петух, презрительно глядевший круглыми желтыми глазами, бурдастый черный бык-двухлеток, приветно укладывавший голову на варок при подходе Момича. Меня пугала величина вил — об двенадцати рожках и с такой ручкой, что она годилась бы на оглоблю, удивляла строгость и подобранность всего двора — тут не было того вольного запустения и той первородной гущины калачника и крапивы, к которым я привык у себя». У себя — значит на бедном дворе, где мальчик живет вместе с дядей, придурковатым ленивым мужиком по кличке Царь, и его женой — теткой Егорихой. Собственно, и подоплека дружбы мальчика с вдовцом Момичем (у него есть дочь Настя) проста — Момич и Егориха любят друг друга. Их любви посвящены самые светлые и, как ни странно прозвучит (для нечитавших), «музыкальные» страницы книги. «Момич» не просто написан рукой мастера, он без преувеличения принадлежит к наиболее художественным созданиям деревенской прозы вообще; и особое обаяние придает повести сильно выраженное, как ни в одной другой книге Воробьева, музыкальное начало его динамичного реалистического письма. Музыка эта начинает звучать с первых фраз, неумолимо увлекая читателя к трагической развязке повести.

Все ситуации, все повороты сюжета (главные я отмечу чуть позже) психологически убедительно выявляют в Момиче черты именно нормального человека. Даже хозяйство его выглядит нормой, не в статистическом смысле, а как выражение идеального «лада». Напротив, его недруги и разорители несут в себе черты выморочности (не забудем, что для ребенка-рассказчика зло и уродство неразделимы). Сгорела Момичева клуня (помещение для снопов); как можно догадаться, поджег ее Царь, ревнующий свою жену к соседу, но еще более ревнующий к чужому достатку. Писатель не случайно отмечает «просветленно-радостный взгляд» Царя после пожара. Свет в глазах — от чужого разора. Глупа и некрасива учительница, присланная из города, но она тут пришлая, а вот Серега Бычков по кличке Зюзя, сын побирушки, ставший председателем сельсовета, вполне свой. Зюзя — вовсе не «идейный» разоритель, а обыкновенный мародер, дорвавшийся до власти. Когда он приходит с комиссией в дом Егорихи выяснять, почему она не вступает в колхоз, мальчик сразу узнает на нем кожанку, сапоги и полосатый шарф Настинного жениха, раскулаченного Романа

Арсенина. «Не привык пока, видно, к богатой одежде», — простодушно истолковывает мальчик Зюзину неловкость.

Коллективизация как разорение, голод в деревне, «кулаки» как рухнувшая опора крестьянского мира, коллективизаторы как грабители — все это описано у Воробьева до «Канунов» Белова, до «Мужиков и баб» Можяева, до «Касьяна Остудного» Ивана Акулова, до тендряковской «Пары гнедых»... И описано без стыдливых умолчаний, без реверансов перед неколебимыми тогда социологическими схемами. У Воробьева односельчан раскулачивают конокрады! Некогда, еще до «перелома», знаменитый «профессионал» Сибилёк и «любитель» Зюзя пытались увести у Момича его жеребца, но тот поймал их, связал, привез в деревню — что ему, богатырю, эти двое. Конокрадов же (в одну ночь, случалось, пускавших по миру целую крестьянскую семью) положено было «убивать обществом», но мальчик вступает за Зюзю, и Момич в последний момент останавливает убийство. Парень же только затаивает злобу: я отомщу! За что? За то, что Момич не дал украсть у себя коня? И вот сцена поистине символическая: те же конокрады на законных основаниях от имени советской власти выводят из конюшни Момичева коня². Сибилёк держал его не за узду, а за ноздри «двумя пальцами, и жеребец стоял понуро и смиренно». А что же Момич? Он стоит на коленях и сгребает, как поначалу кажется мальчику, руками снег. Момич «сказал недоуменно и неверяще:

— Живые...

В снегу копошились и елозили пчелы...». Коллективизаторы разломали (зимой) ульи, чтобы увести мед, тянут в сани ковер, швейную машинку... Мальчику кажется, что его взрослый друг сейчас подымется и разнесет в пух и прах своих врагов, но Момич «заморенно оперся на мое (мальчика! — А. В.) плечо, и мы пошли...». Рухнул мир, опорой которого был Момич и который ему самому давал опору, ощущение смысла жизни и работы, гордости за свое

² В «Тетке Егорихе» сцены раскулачивания нет. Чтобы объяснить, как явный «кулак» Момич избежал раскулачивания, автор в «Тетке Егорихе» перенес время действия на два года назад — в 1926—1928 годы (в «Момиче», напомним, — 1928—1930-й). Можно долго перечислять, чего нет в «Тетке Егорихе» по сравнению с полным текстом, но даже этот изуродованный вариант Игорь Золотусский в статье 1981 года поставил рядом с прозой Андрея Платонова о русской деревне 20—30-х годов. Оценка очень высокая. Что же говорить о «Момиче»!

дело. Разорен, по существу, целый мир — порядок, и сила оставляет бывшего хозяина Мотякина.

На глазах у мальчика закрывают местную церковь, отрекается от бога дрогнувший перед насилием священник — сцена, одна из сильнейших в повести, раскрывающая пропасть между представителями власти и безмолвствующим народом (один Момич подает голос за попа, и то когда на собрании гаснет свет). Камышинская церковь существовала как бы отдельно от «оглядно-ручного мира, в котором я жил с теткой и Момичем. В нем все было понятно, и я знал, что и откуда к нам пришло: Момичеву клуню (после поджога.— А. В.) мы поставили вдвоем — я и он. Все хаты, сарай, плетни и ветряки тоже построили люди... Тут все было нужным и мне близким, а в церкви этот мой мир почему-то тускнел и уменьшался, а большим и недоступно-ярким делалась только она сама. Я не решался подумать, что ее тоже построили люди...». Мальчик еще не догадывается, что есть связь между разорением непонятного ему мира церкви и разорением его «оглядно-ручного» мира, но в ответ на приглашение Митяры Певнева (того прислали заведовать избой-читальней) ломать иконостас мальчик, повинувшись верному нравственному инстинкту, убегает от него; потом из обломков иконостаса он подберет «шары» и «боженят», а тетка украсит ими бедную избу, но ненадолго — и над их домом нависла тень все того же тотального (как бы сверхличного) насилия.

Вместо креста на церкви водрузили «большой и веселый» флаг, но к этому времени бабы, одни, без мужиков, развели по домам из общей конюшни лошадей, разнесли сено и потребовали от Митяры и Андрияна поставить сброшенный ими крест на место («...а те не знали как — сверзить-то легче»). Примчался на лошади милиционер Голуб (тот, что издевался над священником), налетел на баб, и одна только Егориха не побежала, а вскинула руки к конской морде, как бы останавливая налетающую беду. Голуб «выстрелил из нагана незвонко и хрупко, будто сломал сухую ракитовую хворостину», оборвав ее жизнь. Опасности для Голуба не было никакой, но он изначально (может быть, еще с гражданской войны) настроен на насилие — это его «норма». И еще: он внутренне неспокоен, нет ощущения прочности (нравственной прочности) своего положения, он ждет от жизни подвоха, удара, возмездия. И скорее всего Голуб сам попал бы в сталинскую

мясорубку, обойди его в 1930-м пуля Момича.

В усеченном варианте повести Момич случайно (или не случайно) встречает Голуба на дороге: «Наверно, они ни о чем не говорили, и Момич молчком связал Голуба, а потом воссадил на седло и отпустил. Голуб так и появился в Лугани — связанный... Нет, Момич не взял ни нагана, ни сабли (кого успокаивает писатель? — А. В.), — их потом нашли в Кобыльем логу милиционеры из Лугани. Сабля была поломана на две части, а наган совсем на кусочки...» Вскоре Момича забирают — навсегда. В полном, ныне опубликованном варианте Момич, увезенный после раскулачивания вместе с дочерью Настей (она погибнет), через некоторое время возвращается один, но с винтовкой; на глазах мальчика он убивает Голуба («Пускай теперь знает!» — комментирует Саня). В одной из недавних статей доктор экономических наук Г. И. Шмелев первым решился печатно заметить, что так называемый кулацкий террор был слабей и запоздалой попыткой крестьянской самообороны или, добавлю, мстью за разорение, но у Воробьева в повести 1965 года об этом уже, в сущности, говорится. Вдумаемся: главный, безусловно положительный герой, притом «кулак», убивает милиционера (можно сказать, исполняющего свои обязанности), и этот поступок не только не вызывает у читателя нравственного протеста, но, напротив, ощущается как пусть частичное и временное, но восстановление поправленной справедливости (есть правда на земле...).

После убийства Голуба рассказчик Саня и Момич уходят из родных мест в разные стороны — иной автор поставил бы тут окончательную точку, но у Воробьева идет еще эпилог, в котором картина разоренной коллективизаторами деревни, голода, бегства Сани и Момича сразу переходит в бегство молодого лейтенанта, того же Александра, с остатками разбитого отряда из-под Белостока на Минск³. В избушке лесника рассказчик внезапно натывается на Момича, давно живущего здесь под чужой фамилией.

«— Все носишь обиду?»

— Надо б, да не на кого, — повернулся он ко мне. — Кабы оно не на наших дрожжах то тесто взошло! Ить

³ Как результат благословенной полугласности воспринимаются сегодня утверждения, что без трагедии 1929 года, возможно, не было бы и трагедии 1941-го, а у Воробьева это фактически изображено в 1965-м!

не германец же с туркой греб нас?

Я заплакал внезапно и несуразно...

— Ну во-от! Ты чего это!

— А ты не знаешь, да? Не знаешь? — спросил я его обо всем сразу — о тетке Егорихе, о нем самом, о Кашаре (место, где убили Голуба.— А. В.), о моем вчерашнем болоте, о Минске...» И продолжим: об отступающей армии, о разоренной земле... Они прощаются, и Александр с бойцами уходит на соединение со своими.

Собственно, повесть на этом (внутренне) кончается, но есть и еще один абзац: возвращаясь по тем же местам с наступающими на запад войсками, Александр пытается найти Момича и узнает, что его повесили немцы за связь с партизанами. Концовка эта представляется излишней не потому, что Момич по логике своего характера не мог сделать подобного выбора — как раз мог; но для нас (читателей) герой уже и так хорош, мы и так на его стороне. Может быть, автор надеялся сделать своего «сомнительного» героя более приемлемым для «инстанций» (повести он этим тогда не спас), но есть и иное (так сказать, генетическое) объяснение последнего абзаца. Сравним повесть с более ранним рассказом «Ермак», тоже написанным от лица мальчика, но на этот раз его взрослый друг и кумир — председатель сельсовета Никифор Хомутов: «...три дня (в 1930-м.— А. В.) я почти не ночевал дома, свозя добро раскулаченных в сельский кооператив. С этим делом я справлялся легко и радостно,— в моей жизни мало было развлечений, захватывающих дух, разве только качели!» Мальчик участвует в раскулачивании бывшего шахтера Ермакова, по сюжету чуть ли не своего отца. Во время войны его, молодого лейтенанта (!), забрасывают к партизанам, и он узнает в командире отряда Ермака, а в комиссаре — Никифора Хомутова. Они, бывшие разоритель и разоренный, друг в друге души не чают. Рассказчик понять это не в состоянии и получает от своего кумира раскатистое «дур-рак!». Кончается рассказ гибелью Ермака в бою с фашистами.

Как молодой лейтенант — сквозной герой военной прозы Воробьева, так и мальчик — сквозной герой его деревенской прозы (деление, понятно, условное). Подоснова военных и деревенских страниц Воробьева явно автобиографична. можно долго перечислять переходящие из произведения в произведение ситуации и характеры. Писатель все время ходит около одних и тех же жизненных коллизий, поворачивая их то так, то эдак, двигаясь ко все большей внутренней

свободе, писательской честности — до последней ясности (как в «Момиче») ⁴, как бы не в силах вырваться из поля притяжения чего-то очень личного и болезненного в своей судьбе.

Это личное у Воробьева совпадает с самыми существенными и трагическими поворотами в жизни народа.

Сколько было высказано упреков «несознательным» советским гражданам, не только не оберегающим, а с чистой совестью растаскивающим казенное добро,— тут не только результат экономического «отчуждения». Может ли вообще народ уважать собственность государства, которое не уважало никакой иной собственности, кроме своей, государственной, и в этом неуважении было на протяжении всей своей истории весьма последовательным: от национализаций, разверсток, коллективизаций, огосударствления колхозов — до массы повседневных «мелочей». Кстати, в прошлом году «Комсомольская правда» отметила семидесятилетие введения продовольственной диктатуры (май 1918-го) — ну, чем бы, вы думали? — о д о й разверстке и «военному коммунизму»! «Этот декрет до сих пор ставят под сомнение! — возмущается Е. Лосото.— Хлеб нужно было взять!» Вот при «военном коммунизме» хлеба не хватало, но было равенство, а теперь, деланно удивляется журналистка, у нас хлеб есть, а справедливости нет как нет. Она надеется дожить до того времени, «когда из глубин народной памяти поднимется и заработает (?) простая идея равенства перед хлебом насущным», странным образом забывая, что разверстка и «военный коммунизм» рухнули под гром кронштадтских пушек, под гул крестьянских восстаний и под грозное молчание забастовавших петроградских заводов — если это не был голос народа, то чей же? Приводя несомненные факты крестьянских расправ над продотрядовцами и уполномоченными, Е. Лосото умалчивает о том, что эти люди делали с крестьянством (не говоря уж о том, что человек, защищающий плоды своего труда, свою, страшно сказать, собственность, и тот, кто пришел их отнять силой оружия, изначально нравственно не равны).

Философия уравнительного перераспределения есть всегда философия разорения,

⁴ Особенно эта «ясность» разительна в сравнении с ранней повестью «Одним дыханием» (1948), в которой суровые картины послевоенной литовской деревни, известные писателю не понаслышке, осмыслены точно в границах «ортодоксальной» схемы «классовой борьбы» в Прибалтике.

подобного тому, как в повести Воробьева коллективизаторы ломают зимой ульи: таким способом мед можно взять только единожды — другого меда здесь уже не будет. Принуждения страна хлебнула с лихвой, может быть, попробуем иначе, тем более что изобретать ничего не нужно. Характерно (и даже забавно), что наиболее «радикальные» умы и группы, наиболее критически относящиеся к сложившейся у нас политико-экономической системе, те, кого зачастую упрекают в «нигилизме» (по отношению к «принципам», которыми кто-то не может поступиться), опираются как раз на самые устоявшиеся, исторически проверенные ценности (скажем, парламен-

тарный плюрализм, рынок и собственность, традиционная мораль и церковь...); они не выдумывают, а черпают из общечеловеческого опыта, и в этом их коренное отличие от русских нигилистов прошлого века или молодежного нигилизма европейско-американской «контркультуры» 60-х годов.

Воспользуюсь уже вошедшим в литературно-общественный язык образом платоновского котлована: неизвестно, суждено ли нам вообще из него выбраться, но ясно, что выкарабкаться из котлована, стоя на голове, заведомо невозможно, надо сначала встать на ноги или хотя бы попытаться это сделать.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



Политика и наука

К ГОРЬКОМУ — ЕДИНОМУ И ЦЕЛЬНОМУ

М. Горький. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. «Литературное обозрение», 1988, № 9, 10, 12.

Напечатаны «Несвоевременные мысли» Максима Горького. Здесь надо бы поставить восклицательный знак и порадоваться вместе с читателем новой публикации. Но что-то мешает это сделать.

Конечно, сам по себе этот факт не может не радовать. Не прошло и семидесяти лет, как наш читатель (не слишком широкий, если учитывать специфику журнала «Литературное обозрение») получил возможность познаться с мыслями «основоположника соцреализма», чье имя превозносили до небес, называя им города, проспекты, парки, университеты, библиотеки, театры, киностудии, но кого, оказывается... не совсем полно печатали.

О существовании «Несвоевременных мыслей» до сих пор знали не одни специалисты. Глухие разговоры о том, что Горький в свое время не принял Октябрьской революции и спорил с Лениным, велись в читательской среде давно, подогреваемые отсутствием печатной информации на эту тему. Имя Горького в обывательской среде вообще крайне обросло слухами: а правда, что писатель эмигрировал на Запад в 1921 году, а не поехал лечиться, как советовал ему Ленин? что Горький протестовал против суда над эсерами в 1922 году?¹ что Горького убили Сталин и Ягода? С этой точки зрения публикация «Несвоевременных мыслей» — важный шаг на пути от «двух Горьких» к Горькому единому и цельному. Теперь мы можем сказать открыто: да, он спорил с Лениным и большевиками в 1917—1918 годах, да, мучительно не признал Октябрь, который, и это нельзя забывать, был и его де-

тищем, да, отъезд Горького на Запад был продиктован не только болезнью!

Но именно здесь и кончается чувство радости... Сегодня, когда «Несвоевременные мысли» стали общим достоянием, поневоле приходится задуматься над их содержанием. Знаменитая брошюра Горького отрывает общественное сознание от привычного, ставшего в каком-то смысле уютным образа культа личности и возвращает нас назад, к истокам сталинизма.

Что значил Сталин в то время на фоне Ленина, Троцкого, Зиновьева, этот нарком по делам национальностей, только-только начинавший показывать зубы? Недаром о нем нет ни слова в брошюре Горького. Но можно только поражаться историческому предвидению писателя, в июне 1918 года детально обрисовавшего психологический облик будущего тирана: «Он прежде всего обижен за себя, за то, что не талантлив, не силен, за то, что его оскорбляли... Он весь насыщен, как губка, чувством мести и хочет заплатить сторицею обидевшим его... Он относится к людям, как бездарный ученый к собакам и лягушкам, предназначенным для жестоких научных опытов... Люди для него — материал, тем более удобный, чем менее он одухотворен...»

В 1905 году в связи с началом первой русской революции Леонид Андреев написал рассказ «Так было». В нем он предсказывал, что и после победы революции власть будет принадлежать кому угодно, только не самому восставшему народу: «Нужно убить рабов. Власть нет — есть только рабство». А пока, утверждал Андреев, «безграничным повелителем над людьми может стать и горилла.. с волосатым телом».

Интересна реакция на этот рассказ Горького. В 1905 году, прослушав «Так было» в чтении самого автора, Алексей Максимович задал довольно туманный вопрос: «Не преждевременно ли?» На что Андреев

¹ Эту «тайну» пора наконец открыть. В 1922 году в письме А. Франсу Горький писал: «Суд над эсерами носит цинический характер публичного приготовления убийства людей, которые искренно были преданы делу освобождения русского народа» (Эр дэ. Максим Горький и интеллигенция. М. Издательство «Девятое января». 1923, стр. 10).